

БОРИС ТАРБАЕВ



КОРАЛЛОВЫЕ БУСЫ

РАССКАЗ

На второй день пути он вышел к холму с лысой вершиной. Холм торчал на плоской таёжной равнине, как одинокий пенёк посреди выкорчеванной поляны, и был бы виден путнику издали, кабы не лесная чащоба. Холм имел удивительно правильные формы — ни дать ни взять небольшой вулканический конус. А откуда он взялся, как возник на ровной, как стол, местности, почему облысел — ломай голову, догадывайся.

Стояла влажная таёжная жара, взбираясь по склону, путник запыхался и изрядно вспотел. Достигнув вершины, он с облегчением вздохнул, сбросил на землю тяжёлый рюкзак, швырнул под ноги увесистый геологический молоток и, крикнув, опустился на поваленную лесину. Двустольное ружьё он бережно положил на колени.

На все четыре стороны открывались таёжные дали, бескрайняя густо-зелёная равнина, приобретающая у горизонта зеленоватую синеву, близкую по цвету нависшему над тайгой северному небу. Над вершиной, отгоняя докучливых комаров, гулял прохладный ветерок, глаз, уставший от лесной стеснённости, где дальше своего носа ничего не видишь, отдыхал, созерцая простор. Мир и тишина. Но с запада на равнину надвигалась грозовая туча, лохматая, чёрная, тянущая за собой дождевой шлейф, похожий на хорошо расчёсанную бороду. В недрах её, высвечивая клубящиеся детали, бушевало багровое пламя.

ТАРБАЕВ Борис Игнатьевич родился в 1929 году в Саратове. Детские и юношеские годы прошли в сталинградской и саратовской глубинке. Окончил геологический факультет Саратовского университета. Работал в Воркуте начальником геологической партии, заведовал лабораторией математической интерпретации геологической информации. Кандидат наук. Член Союза писателей с 1979 года. Живёт в Сыктывкаре.

“Накроет или пронесёт мимо?” — подумал путник без особой тревоги, но и без воодушевления.

Дождь — это не страшно, от дождя можно укрыться, но сырая листва и трава как пить дать промочат до костей, почище любого ливня. Мокнуть же путнику решительно не хотелось. Наползающая туча, приобретаая формы сказочных чудовищ, уже поглотила солнце. Ослепительно белый изгибающийся шнур пронзил её мрачные недра и упёрся концом в земную твердь. С пушечной мощью ударил гром, грохот, сотрясая и комкая воздух, покати́лся над тайгой.

“Чёрт поberi, — мысленно выругался путник, — место высокое — может и в меня шваркнуть”.

Впрочем, спускаться к подножию холма он не спешил: успел подметить, что высотные ветры влекли грозу на север, и шансы, что дождь прольётся в стороне, были велики. К тому же он заметил на стволе лесины, лежавшей поперёк лысой вершины холма, пятна обугливания: верная примета, что в неё однажды уже угодила молния...

— Два раза в одно место молния не бьёт, — произнёс он вслух и провёл рукой по щеке от седины щетине, покрывающей щёки.

Задумавшись на мгновение, он вздрогнул, мысли его как бы приобрели движение вспять, воскрешая в памяти события, последовательно уходящие в прошлое. Память отбросила его на многие годы назад, во времена, которым положено было уже забыться, но которые, тем не менее, упорно о себе напоминали.

— Два раза в одно место, — повторил он и, опустив голову, задумался.

Казалось, что давние события произошли недавно, едва ли не вчера. Вот он сидит в мягком кресле большого самолёта, его место у иллюминатора — круглого оконца, через которое видно широкое крыло, из-за него не разглядеть земли. Зато можно вдоволь любоваться радужными дисками вращающихся винтов и созерцать клочок пустого безоблачного пространства впереди по курсу самолёта. В боковом кармане его пиджака — диплом, в его твёрдые корки — прижимая к туловищу руку, он чувствует их локтем — вложена свернутая вчетверо бумага, направление на работу в одну из геологических экспедиций. Он ёрзает в кресле: ему не терпится поскорее прибыть на место, он даже готов маленько подтолкнуть самолёт, который, как ему кажется, не движется, а висит на месте. Стрелки часов двигаются, и вот впереди обозначается нечто, похожее на грядку облаков. Он с радостью откидывается на спинку кресла, догадываясь, что видит снежные вершины далёкого горного хребта.

И вот он на земле, его по очереди принимают разные геологические чины и, наконец, последняя инстанция — начальник партии, в которой ему предстоит начать карьеру полевого геолога. Начальник лыс, с отвисшей нижней губой и изрядным брюшком. На толстом носу его — две пары окуляров, эдакая система для улучшения зрения и защиты от солнца. Пузо просторное, а бегать мужик горазд. В гору — рысью, только камни из-под сапог летят. Мало жил, а жаль: хороший был человек, может быть, самый лучший из тех, с кем сводила судьба.

Город. А вот город как раз не запомнился. Зелень садов и тысячи тополей — вот и всё. По ночам каждый тополь острой верхушкой целится в свою звезду. Из города в горы — дорога: пыль, щебень, крутизна. Начальник с шофёром — в кабине, он в кузове, верхом на мешке — картошкой. Грузовик знавал лучшие времена. Старина “газик”... Он рычал, ныл, визжал, задышался, но они добрались-таки на нём, въехали в ущелье. Человек здесь — букашка-тараканка. Впрочем, ущелье как ущелье: по дну река гальку тащит, повыше, на террасе, — палатки все, как есть, белые от солнца: солнце в горах не шутит. Дороге конец — мотору отдых. И тогда... Да, тогда из крайней палатки выходит девушка.

Сидящий на лесине путник жжал шею приклада, а через загар на его лице проступил румянец. Молния ударила в него. С того самого голубого чистого неба, что висело над ущельем и где и не пахло облаками. Ударила и попала в самую точку. Красота. Она ведь бывает ослепительной, такой, что

глянешь — и ты уже не человек, а соляной столб. И не найти слова, потому что их просто нет, чтобы передать влажный блеск таких карих глаз, прелесть таких ресниц... Они же опускаются и поднимаются подобно крыльям бабочки... И какими словами описать этот гордый носик, как бы выгоченный сказочным мастером тончайшим резцом, эти пухлые губы, слепленные ваятелем в момент высшего вдохновения, эти чуточку запавшие матовые щёки...

Она подбежала к машине. В её широко раскрытых глазах плясали весёлые, любопытные чертёныга.

— Новенький!

А в его бедной ошеломлённой голове растерянный и поглупевший вдруг внутренний голос пробормотал... Бывает же так, взял и пробубнил: “Зачем она стриётся под мальчишку? Ей было бы лучше с локонами”.

А что потом? А потом ему что-то не спалось. Первая бессонница за всю его жизнь. Думалось ему, мечталось. Луна светила на полную катушку — все заплатки на брезентовой крыше можно было пересчитать. Сон сбежал в соседний еловый лес на склоне горы. Наш герой поворочался с боку на бок и потопал вслед за ним.

У, какая луница висела над ущельем! Форменный шар. Вершины гор — как серебряные, а на земле — хоть песчинки считай. В лесу под еловыми лапами — они, как ладони, одна над другой — прожектором не просветить, такая стоит темнотища, хоть глаз коли. Внизу река гудит, наверху филин гукает. Брёл наощупь, вытянув вперёд руки, пока не споткнулся о какую-то булыгу. Тогда и сел. Сел и стал фантазировать. Такие себе картины нарисовал в воображении — сказка! Бывает же такое: человек смотрит в темноту, а впереди как бы светло, и всё можно различить. Вот сидит кто-то с неясным лицом, то ли на пне, то ли на камне, сидит и лепит. Берёт лежащий у ног какой-то материал, пробует пальцами, морщится, качает головой: не годится. Берёт следующий — и опять морщится. Но вот нашёл мягкое, светящееся; кивает головой: хорошо, очень хорошо. Не спеша работает, с удовольствием лепит и радуется, склоняет голову набок, откидывается назад, любит сделанным. А лепит он женщину. Точно. Уже готовы стройные ноги. А вот уже и туловище. Оно матовое, обтекаемое, струящееся, от его вида сладко тает сердце. Осталось только увенчать создание головой, но ваятель бдит, заметил чужое присутствие и властно поднимает ладонь, ему нельзя не подчиниться, не закрыть глаза. Но догадаться, какая голова украсит вылепленную фигуру, уже нетрудно. Ваятель ликует, поднимает вверх большой палец: задуманное получилось.

Сколько он тогда проспал в тёмном еловом лесу — неведомо: может быть, мгновение, а может, половину ночи. Кого он видел во сне? Может быть, самого Господа Бога. Пришло время — открыл глаза: река гудит, филин гукает, вот только луна передвинулась по небу и зацепилась за одну из вершин. По ущелью тянет холодом; встал он и побрёл к палатке.

У неё была странная фамилия, совсем не нашёнская — Кара. То ли от татар, то ли от итальянцев. Если от татар, то это значит Чёрная. В каком-то колене они могли затесаться. Но если “чёрная” в буквальном смысле, то ей положено было быть жгучей брюнеткой, но она же была шатенкой. Если примешалась какая-нибудь итальяночка — *cara mia!* — то это как бы в масть. Затесалась и создала породу, и пошли от неё другие *car'ы mia*. *Cara mia*, *Cara mia*... Фамилия Кара прилипла — *mia* забылась, по пути потерялась. Так бывает: была фамилия и вдруг отпала, как высохший лист.

Сохли по ней наши джигиты? Если слово такое к нашему брату-мужчине подходит, то ещё как! И молодые, и те, кто постарше. Сохли и крепились, страдали молча, потому что наш брат — персона гордая, особенно те, кто по горам да по долам шалаңдаёт. Эти норовят подбородок выше головы задрать. Страдали, но чтобы навязываться, слабость показывать — упаси Боже. Правда, был такой Федичка неотразимый, собой, как говаривал женский пол, совсем ничего; и ростом вышел, и в плечах хорош, говорлив, мастер на гитаре брэнчат, песенки походные про тропы таёжные спевать умелец. Но сколько ни терзал он свою гитару, сколько ни драл горло, сколько ни щурил томные глазки — усёк: пустые хлопоты.

Случай, однако, есть случай. Было дело. Посадил начальник на гору маршутную пару: геолога Епифанова и Кару помощницей. Сам раза три туда взбирался, но что-то недосмотрел, оставил на вершине сомнения. Сомнения же порой гложут, спать не дают. Епифанов, которого за глаза ребята звали Епифан, был хоть и не старый, но шибко въедливый: сто человек пройдут и не заметят, а он узрит. Глаз — ватерпас. Так вот, начальник Епифана послал на дело, а Кару — подальше от дыхателей, чтобы малость от сердечных болей отдохнули. Потопали они вдвоём. Склон крут — не шли, карабкались, носами щёбенку пахали. Епифан к тому же коптил свой нос и усы из трубки табачищем, она, как и положено, щёбетала. Она спросит — Епифан кивнет: как себе позволишь не соглашаться! Прошли зону хвойного леса. Хороши тьянь-шаньские ели, где до них здешним худосочным, недокормленным, с грубой корой, зелёным до черноты, на ветках мох — ведьмам на вуаль годится. Там что ни дерево — корабельная мачта, у комля двоим не обхватить. Хвоя — зелень с голубизной, небом дарованной. Выше — альпийские дуга, а за дугами — голый камень. Достигли верхней точки. Горы, они так устроены: с одной стороны — склон, а с другой — обрыв, пропасть, будто часть горы кто-то, у кого зубы с десятиэтажный дом и крепче всякой стали, сгрыз и проглотил. Есть профессора: спроси, объяснят. Естественные процессы, мол, вода, ветер, время и не такое могут устроить — нет ничего проще. Голова к премудростям привыкает, но уж если быть честным до конца, не укладывается кое-что на предназначенную полочку, если признаться самому себе без свидетелей, можно шепнуть: а чёрт там разберёт, как возникают эти горные цирки. Если сверху взглянуть — с самолёта, с вертолёта ли, — увидишь этакий полумесяц, половинку кратера. Стены вертикальные до самого плоского днища. На дне случается озерцо. Карами они зываются. *Sara mia* и кар — интересное сочетание!..

Когда прёшь в гору, льёт с тебя семь потов, есть ли у тебя в мыслях, что там, на верхотуре, тебя ожидает? Подбираешься к кромке, пыхтишь, и вдруг ух — под ногами бездна, до днища кара — верста! Ей-Богу, это не для тех, кто левую руку иногда путает с правой, у кого на обрывах в голове круговерть начинается и дурацкий соблазн. Кое-кого до дурости тянет сигануть в бездну башкой вниз. Таких нужно заранее верёвкой привязывать. Пропасть открывается сразу, не зевай, парень, лишний шаг и — поминай как звали.

Епифан на слова скупой. Он каждый раз счёт им вёл: скажет слово — в уме отложит единичку. Но вот взял и разговорился. Шли они, значит, шли, он и *Sara mia*, достигли кромки обрыва: глубина, высота поднебесная, а у нашей Кары сердечко трепетное. Что ей пропасть, что ей высота — птичкой себя ощутила. Носила она бусы, красные такие, коралловые, любила их и каждый раз, не снимая с шеи, целовала на ночь перед сном. Одним словом, что-то вроде талисмана, чей-то подарок, очень ценный. И вот сорвала она их с шейки, стала ими размахивать на краю пропасти, а они возьми и выскочи из руки. В пропасть. Она поначалу остолбенела. Потом заплакала. Легла на живот и стала смотреть вниз. Случай бывают всякие — это уж точно. Иные — нарочно не придумаешь. И тут случилось так, что бусы не улетели на дно, а зацепились за выступ скалы. Епифан сказал: сорок метров не пролетели и упали на площадку. Одна ступня на ней уместится, а вторую уже не поставишь. Лежат себе бусики на этой площадке алые, приметные. Девчонка рюкзак с плеч и к пропасти: спускаться. Ума решила *Кара mia*: спуститься по отвесной скале. Епифан силу применил, удержал.

Ну, бусы и бусы: упали, пропали. Бусы дело наживное, но, видно не тот случай — со стороны не понять. Спустились с горы *Sara mia* и Епифан, на ней лица нет, слово не может выговорить, губки трясутся. Забилась в палатку и притихла. В лагере всем как-то неловко, траур не траур, а подавленность какая-то, как у виноватых. Вот тут и появился этот малый под вечер. Как с неба свалился. Когда человек спускается со склона, он ногами щёбенку ворошит, слышно, как она осыпается, этот же, что твоё привидение, бесшумно по ней шастал. Запомнился на всю жизнь: высокий такой, не то, чтобы худой, а какой-то узкий, лёгкий, как волейболист, лицо тонкое

с чёрной щетиной на щеках, а волосы — выгоревшие, солома соломой, лентой перехвачены. Ладный парень, нос с горбинкой, а глаза в серую крапинку — форменный ястребиный цвет. Одет по-походному: клетчатая рубашка вылиняла, в соляных выпотах, брючата крепко потёртые, из палаточного брезента сшитые, почти в обтяжку, обувь, однако, классная, таких наши раньше не видывали: из-за бугра привезли, подкинули по блату. Туфли горные, полосатые, красно-белые, из мягкой кожи, подошва жёлтая из пластмассы, которая к камню липнет. Хорошая обувка, хоть и ободранная до нельзя. Возник он перед нами, грустящими, улыбнулся, кивнул, мол, всем привет и присел у костра. Понятное дело, были вопросы: откуда, как? Он кивнул на горы, показал пальцем на ноги: с гор, мол, на своих двоих. Рюкзачишко тощий бросил на землю, разулся и ноги босые протянул к костру. Вот тут-то и вышла из палатки наша *belle* (французы так своих красоток называют): вид потухший, глаза ввалились, будто только что с больничной койки встала, походка тяжёлая, а ведь всегда ходила танцую. Рука с пустой кружкой вперёд вытянута, как у слепой. За чаем к костру направилась и с этим незванным гостем встретилась глазами. Рука у неё дрогнула, чай расплескался, на бледных щёчках выступил румянец. Она подтянулась, стала выше, будто на каблучки поднялась. Руку свободно приложила к подбородку, как бы прикрывая. Смущение, смущение. Такое скрыть невозможно — все заметили. Пришелец прищурился: знал, что сказать, как подъехать.

— Зубки болят. Могу помочь — есть таблетка.

Умел он бросить приманку так, чтобы рыбка сразу села на крючок. Села и не сорвалась. *Cara mia*, как на исповеди, ему всё выложила. Всё. Были там и загадочные слова, понимай, как хочешь:

— На этих бусах слёзы моей матери...

Когда плакала? Почему? Не наше собачье дело всё знать до конца. Есть предел любопытству.

Пришелец оглядел её, как измерил, с ног до головы, посочувствовал: обидно, мол, очень обидно потерять такие бусы. Вынул из кармана записную книжку и со слов стал зарисовывать место. Это недолго — зарисовывать. Потом из своего тощего рюкзака вытащил куртку синюю, как и туфли, не нашенского пошива, на вид легковатая, но подкладка хороша — не замёрзнешь, набросил на плечи, прислонился к валуну, который за день хорошо согрелся, и прикрыл глаза.

Лишних спальных мешков у нас не водилось, но всякого тряпичного барахла хватало, и место бы в палатке нашлось. Предложили, но он усмехнулся, поблагодарил: привык спать на свежем воздухе. Привык так привык — дело хозяйское.

А утром его и след простыл. На одной из кастрюль, которые мы на ночь переворачивали вверх дном, лежали коралловые бусы, да, да, те самые, на кануне упавшие в пропасть. Лихой скалолаз был этот пришелец с гор. Ходили смотреть на это место: стена стеной, как бетонная плита, поставленная “на попа”. Как он добрался до бус без крючьев, верёвки, как поднялся обратно — вопрос вопросов. Не парил же в воздухе: крыльев мы у него не заметили. Говорят, скалолазы прилипать умеют к скалам. Как ящерицы. Шлёпнет ладонью по камню — и прикрепился. Пальцы у них — как железные. Воткнёт мизинец в трещинку — и никакого тебе горя. Болтать можно разное, но факт есть факт: бусы-то он достал и на кастрюлю положил.

Впрочем, кое-что помимо бус после него осталось. На месте, где он ночевал, прислонившись к валуну, записная книжка нашлась. Стишки в ней — то ли сам сочинил, то ли позаимствовал, — немножко формул, плохонькие рисунки и домашний адрес. Выронил записную книжку? Оставил? Нашлось ей место в кармане у *Car’ы mia*. Кому же, как не ей, было её взять, чтобы сердечное спасибо в письменном виде передать.

Молния не бьёт в одно место... Ещё как бьёт! Ещё как!.. Сколько лет минуло? Пальцы на руках и ногах не хватит, чтобы счесть годы. Много воды утекло. Давнее дело — подзабываться стало. И вот вдруг...

Обычная, электричка. Обычный тамбур вагона. Вышел покурить — грязь, мусор, пригородный же поезд. Каждый сорит, каждый норовит плю-

нуть, бросить окурок. Уборщиц не хватает, метел не напасёшься. В тамбуре стоит одинокая женщина. Стоит и смотрит в вагонное окошко, столбы, что ли, путевые считает. Пальтишко на ней дешёвенькое, из рубчатого материала — репса, что ли, или как там его ещё. Стоит и вдруг поворачивается. И тогда молния с потолка или с вагонной крыши, чёрт побери, зигзагом — и прямо в сердце! Крякнуло оно, немолодое уже, — она, точно она, *Sara mia*. Постарела? Деваться некуда: заметно. Но те же прекрасные глаза, изящный носик и пухлые губы. Морщин уже хватает, очки — неспроста в те далёкие годы шурилась, барахлили глазки. И ещё горестная складка у рта, отметиной её можно назвать — отметиной несчастья. Ему вот-вот сходить, ей ехать дальше. Времени для расспросов мало, а тут ещё язык противится спрашивать. Но всё-таки решился и голоса своего не узнал. Ответ знал: внутренний голос подсказал. Был у неё муж, но теперь нету. Обратился к ней на вы: так языку оказалось проще.

Она сощурилась, вмотрелась в него, будто желала запомнить, откинула голову. Так оно и было. Откинула голову и заплакала: погиб ее муж. Железо, оно лязгает, сцепления скрежещут при торможении поезда. Лязгало, скрежетало, дверь шипела, открывалась. Кивнула она на прощанье. Под реповым пальто свитерок у неё был, но воротничок невысокий — нитку красных коралловых бус разглядеть можно. Бусы, на которых остались слёзы её матери, уцелели, но скалолазу они не помогли. Похоже, не всегда ладони прилипали к камню, и палец, который вставлялся в трещину, чтобы удерживать туловище, однажды устал.

...Сидящий на холме путник сжал руку в кулак, крепко сжал — увесистый он был, кулак сильного мужчины, про такие кулаки в старину говорили: гробовой доской пахнет — и ударил по лесине. Костяшками пальцев потёр щёку — жёсткая пегая щетина заскрипела, как проволочная. Туча уже повернулась к холму спиной, уползая на север. Тыльная её часть напоминала огромный прохудившийся шар, складками оседавший к земле, издававший приглушённое и уже совсем не пугающее рычание.

И тогда, глядя вслед уходящей туче, он поднял ружьё и взвёл курки. Приложив приклад к плечу, он выстрелил из одного ствола и, повременив несколько секунд, из другого. Опустив стволы, он стал ждать эхо. Оно гуляло над таёжными просторами и не спешило возвращаться. Одинокий медведь, бродивший по тайге, не ведая пути-дороги, услышав выстрелы, присел на мох, задрал голову, насторожился. Белки стремительно перепрыгнули с ветки на ветку, а заяц, щипавший травку, пошевелил ушами, прикидывая: бежать — не бежать, но остался на месте. Эхо тем временем летело обратно к лысому холму, но оно не несло никакого ответа на молчаливый вопрос человека, сидевшего на вершине.

ДВОЙНОЕ САЛЬТО

РАССКАЗ

Нет, не попутный ветер занёс его в этот город. Человек он был молодой, но тёртый, тёртые же всегда норовят переть против ветра. Говаривал он частенько приятелям: “Попутный ветер, братцы, для слабаков и везунчиков, а я не из первых и не из вторых. Если попутный ветер — я сплю, и тогда меня несёт на рифы. Хрястнет о скалу — в судьбе дыра больше самой судь-

бы, биография в трещинах, как стекло, куда запустили каменюку, а это мне, ей-ей, ни к чему. Моя судьба, слава Богу, пока без пробоин, биография без трещин, с судьбой я как-нибудь управлюсь сам, встречный же ветер мне только на пользу: от него мой характер делается жёстким, как кожа на солдатском ботинке, ну, а если маленько покраснеет рожка, то это пустяки”.

Вот такой нехитрой философией руководствовался прибывший в приморский город молодой человек. А прибыл он в город вовсе не для того, чтобы выкупаться в солёной морской водичке, тем более что купальный сезон уже успел закончиться. Город же был хоть и не велик, но имел такое прошлое, такую историю, которой могли бы позавидовать многие набитые жителями мегаполисы. Впрочем, жители города, занятые своими делишками (в таких городишках все делается по мелочи), нимало не обременённые знанием прошлого, особой гордости от его долголетия не испытывали, а если говорить откровенно — вовсе его игнорировали. Житель всю эту покрытую паутиной веков древность, никогда не вспоминал, судачил о разных пустяках, жил днём сегодняшним, не заглядывая в завтрашний, по привычке, и вообще любопытством и тем более любознательностью не отличался. Поэтому новоприбывший у окружающих на вокзале интереса не вызывал, никто не удосужился его спросить, откуда он и зачем прибыл, по делам или просто так. А ведь, по рассказам очевидцев, были времена, когда такие вопросы последовали бы незамедлительно. Но времён этих в городе уже никто не помнил, разве что самые дряхлые старики, которых можно было сосчитать по пальцам одной руки.

Поезд опоздал часа на два с лишним, уже вечерело; приезжий взглянул на небо и покачал головой: ни звездочки, более того, сверху свалилась капля дождя, коснулась его щеки и покатилась к подбородку.

“Пора под крышу, — подумал приезжий, — должна же быть в этом городе гостиница”.

Солидный джентльмен преклонных лет в плаще почти до пят, в шапочке-бейсболке с длинным козырьком, с увесистой тростью, которая годилась и как опора при ходьбе, и как боевое оружие при отражении нападения, привлёк его внимание.

— Гостиница? — с недоумением переспросил джентльмен, будто такой вопрос был ему в новинку, в раздумье приставил палец к носу, а затем, выбросив вперёд руку, тем же пальцем указал направление, присовокупив: — Там...

Воодушевлённый своей осведомлённостью и точностью ответа, джентльмен решительно надвинул на лоб длинный козырёк, сделал поворот на сто восемьдесят градусов, показав тем самым, что он дал исчерпывающий ответ, который в дополнительных пояснениях не нуждается. “Там” означало направление вдоль погружающегося в темноту проспекта, отгороженного от моря шеренгой тополей и густыми зарослями акаций. Море за деревьями шумело меланхолично и успокаивающе, напоминая всем прибывшим в город о бесконечности времени.

“Там значит там”, — мысленно заключил приезжий, шагая в указанном направлении. Однако уже через десяток-другой шагов он ощутил голод и вспомнил, что, помогая соседу по купе переворачиваться с боку на бок из-за разбившего бедолагу радикулита, он умудрился забыть про ужин, что было тем более непростительно из-за слишком лёгкого обеда, который точно был не по его комплекции. Его молодой организм требовал пищи, и не какой-нибудь, а мясной и достаточно обильной.

Кафе немедленно встало на его пути, выставив свой фасад едва ли не на проезжую часть проспекта. Приезжий поначалу ему обрадовался, но по усвоенной с детства привычке к порядку столь неконструктивное положение сооружения не одобрил и по-своему мысленно прокомментировал.

“Нахальный парень этот кафеист (так он про себя нарек владельца заведения): взял и перегородил дорогу — двум пузанам не разминуться”.

Кафе сияло свежей краской, и каждому обратившему на него взор представлялось новёшеньким. Оно могло возникнуть на пустыре — могли же быть в этом городе пустыри, — но не исключено, что место ему освободил

какой-то ветхий домишко. Как сообщили приезжему на следующий день, исключительно из желания предупредить, чтобы он не совершал поспешных сделок по недвижимости, на улицах, выходя на них фасадом, стояло немало на вид приличных построек, а на самом деле — особняков из самана, то есть построенных из кусков необожженной глины, смешанной с соломой. Что такой домишко можно было обрушить, нажав на него хорошенько плечом. Может быть, и стоял на месте новенького с иголочки кафе особнячок из самана, может быть, нашлось крепкое плечо, в нужное время нажавшее на него.

Строили заведение смело, даже очень смело, с большими претензиями на оригинальность, о чём свидетельствовала вывеска, освещённая огромным фонарём, напоминающим небольшой воздушный шар, норовивший взмыть к небесам, который удерживал искусно сымитированный под трос медный держатель.

“Хижина дяди Тома”, — прочёл приезжий и изобразил на лице удивление: эта самая хижина никак на хижину не походила ни с фасада, ни сбоку и больше всего напоминала маленький средневековый замок с окнами в виде бойниц, с выступами-башенками и стальной дверью, ведущей в вестибюль, больше похожий на крепостные ворота. “Хижина” была сложена из красного кирпича, и красный цвет придавал ей не очень приветливый вид. Приезжий был не робкого десятка, но всё равно, не будь он голоден, как волк, наверняка поискал бы менее вызывающее место для еды. Но голод не тётка. К тому же, как пройти мимо заведения, в дверях которого стоит сам владелец, а в распахнутую дверь видны стойка, уставленная рядами бутылок с красочными этикетками, сидящие за изящными столиками кавалеры и покуривающие дамы. Из распахнутой двери струились манящие ароматы, а человек, стоявший в дверях, не мог быть не кем иным, как только хозяином заведения, потому что только хозяин мог позволить себе, прислонившись к косяку, разглядывать прохожих пристально и бесцеремонно. Нет, на нём не было чёрной пары, галстука бабочкой и лакированных ботинок, он был экипирован налегке, попросту говоря, без пиджака, в рубашке с короткими рукавами и к тому же навыпуск, поверх брюк. Хозяин поманил прохожего пальцем. Тот замедлил шаг, колеблясь в выборе: войти или миновать. Хозяин сделал широкий приглашающий жест, и прохожий выбор сделал, хотя и отметил про себя, что человек, стоявший у входа, ему совсем не симпатичен. Нет, совсем не ростом: мало ли на белом свете толстопузых коротышек. И уж, конечно, не тем, что круглая лысая голова коротышки была посажена, что называется, прямо на плечи, минуя шею. Если человек обходится без шеи, почему это не должно нравится другим? Не по вкусу ему пришлись глаза. Впрочем, какие, к чёрту, глаза! Глазки... Разве можно назвать глазами пару кругляшек, не упрятанных в глазницы, похожих на жёлтые десятикопеечные монеты. И уж, конечно, не красил владельца кафе свежий шрам, пересекавший его круглое лицо наискосок, хорошо ещё, что его короткий приплюснутый нос не пострадал.

Отступать было поздно. Повинуясь зазывающему жесту, приезжий перешагнул порог заведения в сопровождении коротышки хозяина. Помещение оказалось обширным и хорошо освещённым, правда, стены его были разукрашены сверх меры. Аляповатые картины — продукция потеющих от напряжения в творческом экстазе местных мастеров, с изображением полуодетых, а то и вовсе нагих дам чередовались с бородами, зверски ухмыляющимися рожами мужчин в одеждах давно минувших веков. И ещё на стенах красовалось оружие: от пистолетов с дулами-раструбами до чудовищно кривых сабель; всё оно было деревянным и в ужас посетителей не приводило. С подставок в посетителей целились бутафорские средневековые пушечки, но никого от них не бросало в дрожь. Но что действительно заставляло втянуть голову в плечи, так это огромное панно с изображением жерла вполне современного корабельного орудия, готового по команде долбануть во всех посетителей разом.

Посетители, а их было немало, и все, как один, они имели для натренированного глаза сомнительную внешность, и все, включая особ женского пола, были изрядно выпивши. Под потолком клубились тучи табачного дыма: все, сидящие за столами, молча и сосредоточенно курили, будто курение

и было смыслом их пребывания в этом заведении. Когда хозяин, придерживая гостя за талию, повёл его к свободному столику, курящие разом освободили рты от сигарет и папирос и проводили его многозначительными понимающими взглядами. Вновь прибывший посетитель не сводил глаз с панно, размышляя, что бы оно могло значить.

Хозяин же, как видно, умел читать чужие мысли — он сладенько улыбнулся:

— Мы это поясним.

Но объяснять он не спешил, а прежде чем усадить посетителя, осведомился:

— Пить будем одни или с девочкой?

И прищурил глаз.

— Девочки у нас брюнетки, ножки из голов растут.

Хозяин сделал жест, как бы растягивая пружину, показывая тем самым, что ноги у девиц, обслуживающих посетителей, невероятной длины.

— Девочки брюнетки, чёрненькие, что твой антрацит-уголёк. Так как, с брюнеткой будете кушать или в одиночку?

Приезжий быстро пересчитал в уме имеющуюся наличность. Уж что-что, а это он умел делать в совершенстве, ибо работа у него была такая, со счётом связанная. И ещё он умел решительно говорить “нет”. И это тоже было связано с его профессией. Ему и слов произносить не пришлось — он просто покачал головой, чем ужасно огорчил хозяина. Можно даже сказать больше: такой ответ рассердил его — глазки хозяина приобрели блеск хорошо отполированной бронзы, а любезность его как водой смыло.

Он многообещающе хмыкнул, поманил пальцем — явилась девица, в самом деле, чернявая, в самом деле, длинная, с восточным, то есть отнюдь не курносим носом.

— Господин желает выпить и немного закусить, — внушительно, ассистируя себе пальцем, произнёс хозяин, делая ударение на первой части предложения и понижая голос на второй, как бы совсем не придавая закуске существенного значения.

И хотя приезжему больше хотелось закусить, поправку в заказ он не внёс, заключив, что немного взбодриться ему не помешает. И он было уже раскрыл рот, чтобы назвать свой любимый напиток, но хозяин тотчас перехватил инициативу и объявил: “После семи у нас только фирменное, и вам оно понравится”.

Он снова многозначительно прищурил глаз.

“Любопытно”, — подумал посетитель скорее озадаченно, чем с энтузиазмом.

Хозяин сделал какой-то магический знак рукой и вернулся ко входу, заняв позицию наблюдателя, которому видно, что делается и на улице, и одновременно в помещении. Девица оказалась проворной: не успел приезжий моргнуть глазом, как она поставила перед ним узкий бокал, наполненный каким-то тёмным, похожим на деготь напитком, крохотное блюдечко с мелкими орешками и удалилась, как предположил приезжий, за меню, которого на столике не оказалось. Вид у неё был демонстративно надутый.

“Пожалуй, попробуем, не отравя же, надо полагать”, — подумал приезжий и отхлебнул из стакана.

“Вкус специфический, — оценил он напиток, — маленько вяжет, чуточку дерёт горло, не сладкий, не кислый, но крепкий, уж точно поболее сорока градусов”.

Он сделал второй глоток, ощутив в желудке приятную теплоту и томление. Сделал и третий, весьма внушительный, почти опорожнив бокал. От выпитого ему стало жарко, впору сбросить модную замшевую куртку, на лбу выступили капли пота. Ему стало весело, захотелось хохотать и бить себя по ляжкам, и это ему, человеку сдержанному! Про таких иной раз говорят: натура в броневой оболочке. Такой колпак любую пружину, хоть с “КамаЗа” сними, хоть с трактора, сжатой удержит. Приезжий хлопнул по столу. Нет, вовсе не кулаком, а ладонью, чтобы привлечь внимание официантки. Ему захотелось выпить второй стакан — случай небывалый для него. Две рюмки

крепкого, один бокал лёгкого — вот его норма, и ни капли больше, хоть целясь в широкую грудь из крупнокалиберного пулемёта.

Чернявая девица явилась с меню, но вместо закуски приезжий заказал новую порцию напитка и в ожидании бокала принялся выстукивать на столе марш “Прощание славянки”. Он обвёл взглядом помещение; ему показалось, что воздух кафе приобрёл приятный золотисто-розовый цвет, а пол стал мягко покачиваться. Приезжий небрежно оттолкнул соседский стул, едва его не опрокинув, и тотчас перед ним возникла фигура хозяина. Рот у него страннейшим образом кривился: левый угол рта тянулся кверху, а правый опускался вниз. Короче говоря, рот у него оказался перекошенным.

— В “Хижине дяди Тома”, — произнёс хозяин вкрадчиво, — за шум наказывают.

Приезжий развязно откинулся на спинку стула.

— Дядя, ты эту кирпичную коробку называешь хижинкой. Да это же армейский арсенал! — Он говорил очень громко, будто перед ним стоял глухой, и при этом стучал ладонью по столу так, что пустой стакан, подпрыгивая, исполнял замысловатый танец. Маленькие глазки его собеседника сделались крохотными, зрачки стали похожими на острия булавок. Он склонил голову набок, как бы присматриваясь.

— Постой, постой, милочка, а ведь я тебя узнал. Ты ведь мой должник. Я тебе одолжил три тысячи “зелёных”. При свидетелях, милый. Пора возвращать должок.

Посетитель зашёлся в хохоте.

— Какой ещё долг, дядя? Какие свидетели? Я тебя, порубленный (он имел в виду шрам, пересекавший лицо коротышки), первый раз вижу.

Хозяин улыбнулся. Он очень нехорошо улыбнулся. Можно сказать, зловеще. Поманил пальцем, и послушный его жесту верзила с лицом киношного гангстера отодвинул со скрежетом стул и, оставив заскучавшую партнёршу, приблизился к столику.

— Константин, — холодно обратился к нему хозяин. — Ты узнаешь этого малого?

— Ещё бы, — пробасил верзила, — как его забыть. А вот ты, Коля, запомнил, сколько ему в лапы сунул. Наморщ лоб! Не три тысячи, а все пять! Ты эти “зелёненькие” ещё в салфетку завернул. Беленькая такая салфеточка.

Хозяин, он же Коля, охотно согласился:

— Верно, Константин, именно пять тысяч на три месяца. Процент по ганцу назначил товарищеский: пять единиц, копейки. А сколько с того дня прошло времени?

Рослый Константин стал загибать пальцы:

— Шесть, Коля, шесть месяцев и восемь дней.

Посетитель после слов Константина заплакал от смеха.

— Ну, и шутники же вы, вашу мать. Да я в этом городишке первый раз: я только с поезда. Перестаньте, парни, смешить. А вы знаете, кто я? Не знаете. Я акробат, чемпион, я полмира объездил. Много людей повидал, но таких трепачей вижу в первый раз. Пять тысяч баксов! Они вам, ребята, во сне приснились.

Хозяину заведения слова посетителя не понравились — лицо его окаменело. Константин поиграл ладонями, сжимая их в кулаки и разжимая. Из соседних столиков поднялись посетители — несколько дюжих толстомордых парней — и окружили столик. Вид их не обещал приятного продолжения вечера. Приезжий смотрел на них с весёлым умилением, без всякой опаски. По лицу хозяина бродили тени, не обещающие добра. Похоже, он размышлял: бить сразу и очень сильно в зубы и по рёбрам или все-таки погодить. Качнув головой, он, в конце концов, принял решение.

— Акробат, говоришь, чемпион. Ну, что же — это мы сейчас проверим. Залезай, милочка, на стол, разувайся. Ботиночки поставь рядышком, шнурки вынь. Крутнёшь сальто, попадётся ногами в ботинки, тогда, может быть, я тебе долг и прощу. Не выйдет — будет разговор. И тогда, милочка, я тебе не завидую.

— Запросто! — воскликнул, сияя улыбкой, посетитель.

Замшевая куртка полетела прочь. Модные, из тонкой кожи, цвета карих девичьих глаз мужские туфли расположились точно посередине столика. Посетитель легко вспрыгнул на него и остановился, примериваясь и готовясь.

— Кручу двойное.

Он взглянул на потолок и взлетел в клубящийся под ним табачный дым. Мускулистое тело дважды перевернулось в воздухе, ступни его ног угодили точно в туфли. Но! Но бедный стол не выдержал тяжёлого удара и с треском развалился надвое.

Измученный хозяин обвёл глазами своих соратников и остановился взглядом на Константине. Это означало: “Отставить!”

Проснулся приезжий от утренней прохлады, озябший и разбитый, в каком-то скверике на скамейке. Настолько разбитый, что с трудом привёл своё туловище в вертикальное положение. Листья тополей лопотали от свежего ветерка, за тополями мерно вздыхало спокойное море. Приезжий напряг память, пытаюсь припомнить, где он был вечером и чем занимался. Сознание его восстанавливало события прошедшего вечера по кусочкам. Какое-то кафе, какая-то хижина — хотя при чём тут хижина? Что-то он пил. Что-то чёрное. Потом стало весело. И это ему, природному зануде! Больше, как он ни напрягал свою память, ему ничего не припомнилось. Куртка была на нём, дипломат — под боком. Он пошевелил ногами — вот так штука: туфли его тонкой кожи цвета карих девичьих глаз лишились шнурков.

“Деньги?..”

Эта мысль буквально пронзила его. Деньги — это слишком серьёзно. Он немедленно сунул руку в карман — бумажник оказался на месте, но заметно похудел. Слабыми пальцами приезжий пересчитал банкноты — не хватало изрядной суммы. Вместо неё была вложена записка, которую он и прочёл в тусклом свете нарождающегося дня.

“Напитки у нас фирменные — стоят дорого, сломанный стол тоже недёшев. Жаловаться не советуем, обижаться тоже. У каждого своя работа”.

И никакой подписи.

— Встречный ветер, — пробормотал приезжий, со вздохом поднимаясь со скамьи. На встречный ветер не жалуются, а зубы он умеет показывать.